**В. БЕРЕСТОВ**

**ПРЕЛЕСТЬ МИЛОЙ ЖИЗНИ**



**Опубликовано в журнале:**[**«Вопросы литературы» 2000, №3**](http://magazines.russ.ru/voplit/2000/3/)

***Анкета литературоведов и критиков***

**Валентин БЕРЕСТОВ**

ПРЕЛЕСТЬ МИЛОЙ ЖИЗНИ

Публикуемое впервые эссе Валентина Дмитриевича Берестова “Прелесть милой жизни” является частью его большой работы “Юность рядом с Ахматовой (Из книги воспоминаний)”. Написана эта статья в то же время, что и воспоминания об Ахматовой, в 1989—1995 годы. Возможно, она не была включена в двухтомник “Избранных произведений” Берестова (М., 1998) по причине сокращения объема издания. Задуманное как трехтомное, избранное вышло в двух томах. В разделе “Из книги воспоминаний” — интереснейшие страницы литературных мемуаров. Приоткроем некоторые из них. Берестов познакомился с Ахматовой во время эвакуации в Ташкенте в 1943 году. Этому предшествовала история, описанная в дневниках Чуковского: “В Ташкенте, под весенним дождем я познакомился с исхудалым и болезненным мальчиком, который протянул мне тетрадку полудетских стихов и сказал: “Если эти стихи вам понравятся, я буду писать дальше ” . Потом помолчал и прибавил: “Если же они вам не понравятся, я все равно буду писать дальше”.

А Берестов спустя много лет напишет: “Теперь понимаю, что он не только спас мне жизнь, но и направил ее... Между нами была разница в 46 лет, но зато у нас был общий язык — русская поэзия”. Рассказывает Валентин Дмитриевич и о том, как его с помощью Чуковского “подкормили, вылечили, одели, обули” и вместе с двумя другими школьниками, писавшими стихи и прозу, Эдиком Бабаевым и Зоей Тумановой, зачислили в литкружок Центрального Дома художественного воспитания детей.

Здесь одной из преподавательниц была Лидия Корнеевна Чуковская. “Стихи Гумилева, Сологуба, Пастернака, Ахматовой. Мои горизонты сразу раздвинулись, поэзия Серебряного века постепенно стала для меня и великой, и по-домашнему родной”. Другая преподавательница, Надежда Яковлевна Мандельштам, и познакомила ребят с Анной Андреевной Ахматовой.

Беседа при Ахматовой, вспоминает Валентин Дмитриевич, сразу становилась “веселей и выше”. “Темы обычно приносили мы с Эдиком. Бегаем по ташкентским библиотекам, по квартирам знакомых, где много книг, переписываем все до одного стихи, какие пришлись по душе. Половина поэтов ХХ века, если не больше, уже стали запретными, нежелательными, но в некоторых библиотеках их книги забыли или не пожелали списать”. Лидия Корнеевна в письме из Москвы, проверенном, как все письма, военной цензурой, благословила его: “Ловчись, ловчись, Валенька, принимай наследство, которое тебе принадлежит, не позволяй себя обворовывать”. “Овладеваем мы всем этим, — писал Берестов Лидии Корнеевне, — как-то радостно и навсегда... Я стал дышать стихами... Я нашел сегодня еще одно стихотворение Мандельштама”.

И еще несколько строк из книги воспоминаний: “Жутко даже перечитывать, что записано дальше. Но если Ахматова в день вашего 16-летия готовит вам бухарский плов с курагой, если про ваши стихи, пусть с пятипроцентной возрастной скидкой, говорится: “Замечательно! Великолепно! Мы попросим Валю оставить их нам!” и что чувствуется обязательность этих стихов, что “в настоящих стихах должна быть лунатическая уверенность, что пройдешь именно по карнизу”, и что нам с Эдиком никакие советы уже не нужны, все зависит от судьбы, если это чудо уже произошло, то вы на всю жизнь потеряете честолюбие. Что рядом с этим любые лавры!”

В апреле 1944 года Берестов простился с Ахматовой и уехал в Москву. Записал ее разговор с Надеждой Яковлевной Мандельштам: “Ненавижу, когда уезжают. А все же, Наденька, кому же его нам отдать, чтобы польза была не нам, а ему?” Письма Ахматовой были адресованы И. Г. Эренбургу и В. Б. Шкловскому. Одно из них оканчивалось так: “Это письмо передаст Вам В. Берестов. Он очень хороший мальчик и пишет стихи. Поговорите с Валей”. “Поговорите с Валей” — это и сейчас трогает меня. Значит, и ей было не скучно говорить со мной! Значит, понимала, какие разговоры были для меня необходимейшей духовной пищей” (В. Берестов).

Эти “разговоры” в 1944 году не закончились: в мемуарах Берестова описаны еще две — московские — встречи с Ахматовой (в 1956 и 1964 годах). Публикуемое ниже небольшое эссе — взволнованный разговор о великом и близком человеке.

Говорят, в старости Анна Андреевна как-то по-детски увлеклась своей славой. Но она всегда была такой!

Не стань Аня Горенко поэтом, она и без того все равно прославилась бы на весь мир. “Циркачи говорили, — сообщила Ахматова Лидии Чуковской, — что если бы я с детства пошла учиться в цирк, у меня была бы мировая слава”. Была бы и без цирка! Гумилев в 1907 году назвал Аню царицей и в то же время “усталым ребенком с бессильною мукою взгляда”. Царица-дитя прославилась бы не как автор, а как героиня чужих прекрасных стихов (Гумилев уже посвятил ей цикл “Беатриче”), если б новоявленный Данте не женился на своей Беатриче, а та не пожелала бы сама стать Дантом. “Могла ли Биче, словно Дант творить?” — этот вопрос занимал ее с юных лет.

Если говорить о поэтах древности и средневековья, то Ахматова постоянно вспоминала не Сафо, а Данте. В 21 год она даже отправилась по дантовскому маршруту:

Стояла долго я у врат тяжелых ада,

Но было тихо и темно в аду...

Она ощущала себя не героиней дантовских сонетов, а той запредельной, бессмертной Беатриче “с царственно взнесенной головой”, какая встретила поэта на пороге Рая. “До сих пор перед всем миром, — сказала Ахматова на своем последнем пороге перед тем, как покинуть этот мир, — стоит она под белым покрывалом, подпоясанная оливковой ветвью, в платье живого огня и в зеленом плаще”. Данте в “Божественной комедии” дал ей голос:

“Зачем ты так в лицо мое влюблен,

Что красотою сада неземного,

В лучах Христа расцветшей, не прельщен?”

Будь эти строки и впрямь написаны женщиной, она стала бы великим поэтом. Именно такая поэзия, прочитанная Ахматовой в подлиннике, и стала для нее образцом.

“Я носила тогда зеленое малахитовое ожерелье и чепчик из тонких кружев”, — вспоминала Ахматова в мемуарной записи “Слепнево”. А разглядывая “Рисунок на книге стихов”, припомнила свой давний, “не траурный” и “не мрачный”, а “почти как сквозной дымок”, —

Полуброшенной новобрачной

Черно-белый легкий венок.

А под ним тот профиль горбатый

И парижской челки атлас,

И зеленый, продолговатый,

Очень зорко видящий глаз.

Это сразу и Беатриче дантовского Рая, и горбоносый “Дант” женского пола в черно-белом венке-нимбе и в зеленом, под цвет глаз, ожерелье. К ней в тверское поместье Гумилевых приходила та самая Муза, “милая гостья с дудочкой в руке”, которая на прямой вопрос: “Ты ль Данту диктовала страницы “Ада”?”, невозмутимо отвечала: “Я!”

Полуброшенной новобрачной Ахматова была, когда Гумилев вскоре после свадьбы уехал в Африку. Но вот “он вернулся из Аддис-Абебы, и я прочла ему то, что впоследствии стало называться “Вечер”, он сразу сказал: “Ты поэт, надо делать книгу”. В предисловии М. Кузмин величает автора не поэтессой, а поэтом, там упомянута и Марина Цветаева, чья первая книга, кстати, звалась “Вечерний альбом”. Утро своих жизней обе они сочли за вечер, как будто обеих впереди ждала ночь.

Автор “Вечера” (1912) — не Анна Горенко или Анна Гумилева, но Анна Ахматова. Фамилия взята у прабабки, из рода последнего золотоордынского хана Ахмата, а значит, и самого Чингисхана. В отличие от незадачливого хана Ахмата, без боя, после Стояния на Угре, сдавшего власть над Русью, Анна Ахматова сумела ее покорить.

После выхода “Четок” (1912) Гумилев воспел свою подругу уже не в стихах, а в рецензии: “В ней обретает голос ряд немых до сих пор существований, — женщины влюбленные, лукавые, мечтающие и восторженные говорят, наконец, своим подлинным и в то же время художественно убедительным языком”. Ахматова спешила высказаться за всех женщин, не только современниц, но даже героинь литературы и фольклора.

Она побывала русалкой: “Мне больше ног моих не надо,/Пусть превратятся в рыбий хвост”. И пушкинской Татьяной, написав в Слепневе “Последнее письмо”: “Мне нестерпимо здесь томиться.../Подумай, день идет за днем”. Превратившись в Офелию, на гамлетовское “иди в монастырь или замуж за дурака” ответила умно и точно: “Принцы только такое всегда говорят”. Побывала и Золушкой: “Ах! кто-то взял на память мой белый башмачок”. И Царицей Лебедью: “О вольные мои друзья! О лебеди мои!” А в 1922 году после нескольких лет террора поставила себя на место чудом уцелевшей от расправы седьмой жены Синей бороды:

Скачут братья на замковый двор,

И над шеей безвинной и нежною

Не подымется скользкий топор.

Народ говорил: “Живем как в сказке — чем дальше, тем страшней”. Вместе с ним жила в той “сказке” и Ахматова. Вот она в плену у дракона:

И дракон крылатый мучит,

Он меня смиренью учит,

Чтоб забыла дерзкий смех,

Чтобы стала лучше всех.

В самом деле, ее учили смирению и с помощью негласного постановления ЦК в 1925 году, после чего 15 лет не выходили ее книги, и с помощью знаменитого Постановления 1946 года, когда ее объявили вредной и антинародной. Стихи про пленницу дракона написаны в 1921-м. А потом, в самые страшные годы, она ощутила себя китежанкой, то есть жительницей града Китежа, который ушел в озеро Светлояр невредимый, спасенный молитвами китежан от пожаров, разорения, мечей и плетей Батыевой орды. Странная китежанка не ушла с другими в свой Светлояр, а осталась под чуждой ей властью, неся в себе свой невидимый Китеж.

Ее, говоря словами Фета, лирическая дерзость поразительна. Даже праматерь Ева заговорила голосом Ахматовой с единственным в мире:

Из ребра твоего сотворенная,

Как могу я тебя не любить?

А в страшной тюремной очереди с передачами и за вестями о заключенных отцах, братьях, мужьях, сыновьях, среди которых ждал своей участи в сталинских застенках сын ее и Гумилева, Ахматова поняла, что чувствовала Богоматерь, глядя на распятие Сына:

А туда, где молча Мать стояла,

Так никто взглянуть и не посмел.

С Библией Ахматова не расставалась. Ее голосом заговорила Мелхола, она должна была выдать на смерть псалмопевца Давида, а вместо этого спасла любимого:

“А солнца лучи... А звезды в ночи...

А эта холодная дрожь...”

Ахматова сама готова вместе с поэтом и псалмопевцем “проплясать пред Ковчегом Завета или сгинуть”. В ней — печаль, “которой царь Давид по-царски одарил тысячелетья”. Для нее поэзия — “наше священное ремесло”, существующее тысячи лет. И голоса из тысячелетий для нее живые:

А в Библии красный кленовый лист

Заложен на Песни Песней.

Развернем Библию там, где ахматовская закладка. И услышим перекличку любящих голосов, мужского и женского. Они свободны и равноправны. “Голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса, — звучит мужской голос, — покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой”. Ему так же сильно, чисто отвечает женский голос: “Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему... Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям и буду искать того, кого любит душа моя”. И кажется, что оба голоса сливаются в единый гимн любви: “Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность”.

В стихах Ахматовой любовь будет спорить со смертью, как равная по силе противница. А ревности, раз уж она адская сила, не дадут голоса:

Сердце к сердцу не приковано,

Если хочешь — уходи.

Никакой злобы:

Ему ответила, как брату,

Я, не ревнуя, не ропща...

Ничего неблагородного, низкого, черного в истинной любви быть не может:

Верно, мало для счастия надо

Тем, кто нежен и любит светло,

Что ни ревность, ни гнев, ни досада

Молодое не тронут чело.

Ревность, согласно “Песни песней”, это преисподняя, ад. Ревность — прислужница смерти; вот как звучит голос ревнивца:

Или будь совсем моею,

Или я тебя убью.

На это ахматовская героиня отвечает:

Этот самый скучный довод

Черной ревности твоей.

Что угодно, только не ревность: “Пленник чужой! Мне чужого не надо”. Черное чувство побеждено, вытеснено другим:

Нет, он меня никогда не заставит

Думать, что страстно в другую влюблен.

Среди множества стихов Ахматовой о любви нашел лишь несколько строк, где все же звучит ревность, обида на соперницу:

Она твою развеет славу

Рукою хищною своей.

Или:

А этим дурочкам нужней

Сознанье полное победы,

Чем дружбы светлые беседы

И память первых нежных дней...

Прекрасные строки! Но, как рассказал Анатолий Найман в своей книге об Ахматовой, она до конца своих дней не могла их себе простить. Цитирую: “Почему дурочка? — возмущалась она. — Если он предпочел другую, так уж сразу и дура?” А когда ей спели частушку: “Дура я, дура я,/Дура я проклятая!/У него четыре дуры,/А я дура пятая”, Ахматова сказала: “Это я. Это мои стихи”.

Даже в великолепной цветаевской “Попытке ревности”, по А. Найману, Ахматова расслышала “тон базарной торговки”: “Как живется вам с трухою?” Даже проклиная, она не скажет резкого: “Уходи!” А смягчит: “Если хочешь”. Самое страшное ее проклятие: “Я к тебе никогда не вернусь”.

Отвергая “скучные доводы” низких, пошлых нравов, поэт одерживает главную победу — победу над собой. Его утешит, спасет сама поэзия:

Одной надеждой меньше стало,

Одною песней больше будет.

И еще утешение — таких, как она, не забывают:

Из-за плеча твоей невесты глянут

Мои полузакрытые глаза.

Не забудет и она сама. Это ее богатство:

В тот давний год, когда зажглась любовь,

Как крест престольный в сердце обреченном...

Столь же благородна она и в счастье, “пьянея звуком голоса, похожего на твой”, и просыпаясь на рассвете “от того, что радость душит”. Ни тени эгоизма, “сознанья полного победы”. Кажется, никто никогда не отнимет у нее ни одной радости. У нее, у королевы волшебного царства, вообще ничего нельзя отнять:

А я иду владеть чудесным садом,

Где шелест трав и восклицанья муз.

Она чем-то похожа на Татьяну Ларину, если бы та сама была поэтом и написала строки, какие вложил в ее уста Пушкин. Вслушаемся в их звучание: “Вы были правы предо мной”, “За полку книг, за дикий сад”, “Быть чувства мелкого рабом?”. Это могло быть сказано не только “величавой и небрежной законодательницей зал”, какой стала Татьяна в Петербурге, но и царственной Ахматовой. “А счастье было так возможно” — чуть ли не главная мысль “Евгения Онегина” произнесена Татьяной.

Ведь где-то есть простая жизнь и свет,

Прозрачный, теплый и веселый, —

отозвалось это в лирике Ахматовой. И все же она верна своему “гранитному городу славы и беды” и ни на что его не променяет.

“Про стихи я все знала с самого начала”, — сказано в автобиографии. Что считать началом? Может, прочитанные в детстве матерью баллады Жуковского, где тоже слышен благородный женский голос:

“Сладко мне твоей сестрою,

Милый рыцарь, быть;

Но любовию иною

Не могу любить...”

Или наполовину спетая женским голосом поэма Некрасова “Мороз, Красный нос”:

Я ли о нем не старалась?

Я ли жалела чего?

Я ему молвить боялась,

Как я любила его!

После смерти Ахматовой К. И. Чуковский написал: “За все полвека, что мы были знакомы, я не помню у нее на лице ни одной просительной, заискивающей, мелкой или жалкой улыбки. При взгляде на нее всегда вспоминалось некрасовское:

Есть женщины в русских селеньях

С спокойною важностью лиц,

С красивою силой в движеньях,

С походкой, со взглядом цариц...”

В ахматовском царстве отмечались “годовщины первых дней твоей любви”, “годовщины грусти своей”, даты церковного календаря — но ни строки к казенным датам, чем грешили многие поэты. Времен года было не четыре, а пять, пятое — любовь. Часы могли прозвонить тринадцать раз, но радости от лишнего часа не жди. У Шекспира двадцать три драмы. Но Ахматова знала, что в нашем веке двадцать четвертую драму Шекспира “пишет время бесстрастной рукой”. “Мне зрительницей быть не удавалось”, — замечает Ахматова. Она стала заметным действующим лицом новой шекспировской драмы, самой страшной ( “Эту уже мы не в силах читать”).

Ее облик привлекал художников, поражал воображение поэтов: для кого — Муза, для кого — вещая Кассандра, пророчащая гибель Трои. В 1910 году Михаил Зенкевич, в мясных рядах, где от туш, подвешенных на крюках, “исходит тяжко дух”, вдруг вспомнил Ахматову (ей было тогда двадцать лет) и обратился к ней: “И нас, как мясо, вешают Весы”. Гумилев, добившись наконец ее руки, вместо семейного уюта ощутил иное:

Мне жалко ее, виноватую,

Как птицу подбитую,

Березу подрытую

Над участью\*, Богом заклятою.

Сергей Городецкий в ее ранних стихах различил, как... “в неизбежном столкновенье/Два века бились за свое”.

Велимир Хлебников, думая о ней, “на полотне из камней” “черную хвою увидел” — знак траура. Николай Клюев в 1913 году сравнил Ахматову с белым крылом, крепнущим перед бурей. Александр Блок, увидев ее в испанской шали, с красным розаном в прическе, все же закончил: “Не так проста я,/чтоб не знать,/как жизнь страшна”. Георгий Адамович ужаснулся тому, что Ахматову просят читать в кафе:

На тупую и стыдную муку

Богородицу привели.

Игорь Северянин, вспоминая визит к Гумилевым в довоенное, дореволюционное Царское Село, не мог отделаться от горестного видения:

Ахматова устала у стола,

Томима постоянною печалью...

Значит, современники уже чувствовали, что почти все разлуки ждут поэта и героинь ее любовной лирики в дни войн, революций, голода, эпидемий, террора.

У Ахматовой была “Полосатая тетрадь” с посвященными ей стихами. Помню, она извлекла ее и прочла стихи Николая Асеева (1924) “Я не враг тебе, я не враг”, этакий жутковатый тост:

За страшную жизнь твою,

За жизнь в ледяном краю.

Еще раньше, в начале мировой войны, Марина Цветаева провозгласила Ахматову Музой Плача. А Мандельштам в 1917 году пророчил, что и самой Кассандре, чьи ужасные пророчества уже сбывались, “при звуках омерзительного бала сорвут платок с прекрасной головы”, — почти так и случилось в 1946 году после разносного постановления ЦК и доклада Жданова. Но —

На развалинах зреют колосья,

Не сгубил их ни град, ни мороз.

Это хор твоего стоголосья,

Мир молитвы, труда и слез, —

на моих глазах записывал в ту самую “Полосатую тетрадь” мой друг Эдик Бабаев, тогда еще ташкентский школьник.

Мало того что Анна Ахматова “с самого начала все знала про стихи”:

Себе самой я с самого начала

То чьим-то сном казалась или бредом,

Иль отраженьем в зеркале чужом...

И правда. Читая ее стихи, созданные до первой мировой войны, с удивлением замечаешь, что она предчувствует будущие страшные беды и пишет о них так, будто они уже произошли. Вот строки из стихов, какие двадцатилетняя поэтесса писала в 1911 году, для нее вполне благополучном, даже счастливом:

Видишь, ветер, мой труп холодный,

И некому руки сложить.

Будет камень вместо хлеба

Мне наградой злой.

“Ах, пусты дорожные котомки,

А назавтра голод и ненастье!”

Кого ты на смерть проводила,

Тот скоро, о, скоро умрет.

Знаешь, долю такую

Лишь врагу

Пожелать я могу.

А мой покой навеки взят

Предчувствием беды.

И снова предчувствия катастроф, миллионов убитых в войнах, изгнанных, заключенных, расстрелянных:

Мне снится, что меня ведет палач

По голубым предутренним дорогам.

Через несколько лет поведут на расстрел Николая Гумилева. В ранние стихи вошло “большой тюрьмы белесое строенье”. Будто она предвидела, что в таких “строеньях” трижды окажется ее сын Лев Гумилев, что на ее глазах туда уведут Осипа Мандельштама, что сама она встанет в тюремную очередь и даже памятник себе (в ранних стихах уверенное: “Я тоже мраморною стану”) завещает поставить у стены Крестов, ленинградской тюрьмы.

Может, потому собратья-поэты и в облике ее видели предвестье грядущих бед страны и мира, что она сама в самые счастливые минуты вдруг холодела от ужаса:

А та, что сейчас танцует,

Непременно будет в аду.

(1913)

Через день после начала мировой войны Ахматова вспомнила, как в тверских селах “одноногий прохожий” пророчил:

“Сроки страшные близятся. Скоро

Станет тесно от свежих могил...”

Об этом не предупредила человечество мировая поэзия, занятая тогда борьбою направлений, самовыражением, самопоказом. Исключений не могу припомнить. Даже Блок опомнился лишь в начале войны, а до того он видел романтику в том, что “всем священный меч войны сверкает в неизбежных тучах”. Это совсем не похоже на пророчество “одноногого прохожего”, человека из народа.

Первого августа 1914 года начались, как считала Ахматова, все беды, какие ей пришлось делить с миллионами людей.

Я была тогда с моим народом,

Там, где мой народ, к несчастью, был.

У нее было право на эти царские (“мой народ”) слова. Она и впрямь, как догадался Клюев, укрепляла крылья перед бурей. И при этом продолжала до конца слагать стихи о любви:

Конец ли дня, конец ли мира,

Иль тайна тайн во мне опять?

Она стала, как сказал Чуковский, “мастером исторической живописи”, что проявилось уже в ранних стихах:

Как навсегда исчерпанная тема,

В смертельном сне покоится дворец.

Или — о Новгороде Великом: “Здесь Марфа правила и правил Аракчеев”.

Марфа Посадница — республика, вольность, Аракчеев — предел подавления свободы.

Она и в годы сталинщины не зажала “измученный рот, которым кричит стомильонный народ”, но эти стихи за долгие десятилетия, укрыв их от “крепко слаженной слежки”, хранили в памяти лишь несколько друзей поэта. Зато призыв к свободе русской речи (“свободной и чистой тебя пронесем”) в 194 2 году напечатала газета “Правда” 8 марта, в Женский день. “Мужество” услышала вся страна. Сейчас не все понимают, какая страшная опасность грозила русскому народу во времена гитлеровского нашествия. А ведь планы были определенные: одних из нас онемечить, других превратить в рабов, третьих загнать за Урал, на вечное прозябание. Зимой 1919 года Ахматова писала:

Еще на западе земное солнце светит,

И кровли городов в его лучах блестят.

Достаточно перелистать “Дневник Анны Франк”, чтобы понять, какое солнце вставало над многими городами уютного, прекрасного Запада, захваченными фашистами. “Час мужества пробил на наших часах”, — от имени всего народа провозгласила Ахматова. И народ ответил ей любовью. Эдуард Бабаев в своих воспоминаниях рассказал про ее выступления перед ранеными в госпиталях. Как и все, кто шел в госпитальную палату, она была в белом медицинском халате. Иные бойцы, родом из глухих деревень, никогда не слышали, как поэты читают стихи. И, пишет Бабаев, с восхищением говорили, как “нездешняя сестра песни рассказывает”. Подумать только, раненый принял поэта не за врача, а за медсестру, за совсем своего, простого человека.

Это ей стоя аплодировала молодежь, вызвав ревность самого Сталина: “Кто организовал вставание?” Это ее испугался один из главных сталинских вождей — А. А. Жданов в 1946 году, читая доклад, который много лет будут зубрить и отвечать на экзаменах все старшеклассники и студенты страны: “Музейные редкости из мира теней... начинают поучать нашу молодежь, как нужно жить”. Никогда, ни словом она не поучала (так они с Гумилевым решили еще в молодости), не “пасла народы” (их с Гумилевым образ, взятый из Пушкина: “Паситесь, мирные народы!”), не впадала в учительство. То, что ее враги называли “узеньким мирком личных переживаний”, на самом деле было неисчерпаемым богатством человеческих чувств и движений души. Она заранее ответила на все обвинения:

Сила — право. Только ваши дети

За меня вас будут проклинать.

Мы с Эдиком Бабаевым и Зоей Тумановой были из первой волны этих детей. Мы не решались проклинать ее гонителей, но после рокового постановления сделали все, чтоб даже случайно не “проклясть” ее на каком-нибудь семинаре или экзамене. Эдик Бабаев сразу после того постановления подал заявление, чтоб его отчислили с филфака, и пошел в школу учителем, а я не стал рассматривать такие варианты своей судьбы, как филфак МГУ или Литературный институт, поступил на исторический, забрался поглубже, в археологию. Один бывший однокурсник недавно упрекал меня, что я скрыл от других студентов знакомство с Ахматовой. Скрыл не ото всех, но боялся, что заставят излагать доклад Жданова. Доблести, увы, в этом не было.

В 1915 году, тяжко переживая “тлетворный срам” мировой бойни, Ахматова продолжала писать о красоте жизни:

И на мосту, сквозь ржавые перила

Просовывая руки в рукавичках,

Кормили дети пестрых жадных уток,

Что кувыркались в проруби чернильной.

И я подумала: не может быть,

Чтоб я когда-нибудь забыла это.

И задумалась о жизни, какую ей еще предстояло прожить:

И если трудный путь мне предстоит,

Вот легкий груз, который мне под силу

С собою взять, чтоб в старости, в болезни,

Быть может, в нищете — припоминать

Закат неистовый, и полноту

Душевных сил, и прелесть милой жизни.

Лучшею статьей о себе она считала очерк критика и поэта Н. Недоброво, напечатанный уже после начала мировой бойни. “Прочитав стихи Ахматовой, — писал он, — мы наполняемся новой гордостью за жизнь и за человека”. Дело в “новом умении видеть и любить человека”. И если юная Ахматова пророчила беду, то в старости прозвучали слова, которые я готов повторять без конца:

Что войны, что чума? — конец им виден скорый,

Им приговор почти произнесен.

Но кто нас защитит от ужаса, который

Был бегом времени когда-то наречен?

Как видим, по мнению Ахматовой, приговор массовым смертям, то есть войнам и эпидемиям, “почти произнесен”, им не останется места в будущем. В 1911 году она думала иначе. Тем поразительнее ее творческий путь.

1989—1995

*Вступительная заметка Р. ЕФРЕМОВОЙ,*

*публикация Н. АЛЕКСАНДРОВОЙ.*

\* У Гумилева: очастью. См.: Н. Г у м и л е в, Собр. соч. в 3-х томах, т. 1, М., 1991, с. 507.